

Рукопись этой книги была завершена, но не окончательно подготовлена к печати, когда умерла Вирджиния Вулф. Я думаю, никаких существенных поправок автор бы в нее не внес, но мог бы внести ряд мелких исправлений.

Леонард Вулф

Летним вечером, под шелест сада в открытых окнах, в гостиной обсуждали сточную трубу. Муниципалитет обещал провести сюда воду, и хоть бы кто палец о палец ударил.

Миссис Хейнз, жена помещика, занятого хозяйством, дама с физиономией гусыни и глазками выпученными, будто ей явился домовой, вскричала с чувством:

— Ну и тема для разговора в такой вечер!

Все примолкли; и кашлянула корова; и дала даме повод заметить — как странно, в детстве она коров ну нисколечко не боялась, исключительно лошадей. Да, но ведь когда она была совершенная кроха, громадный ломовик прогрохотал прямо у самой колясочки. Их род, сообщила она старику в кресле, жил близ Лискерда веками. Памятники на кладбище это докажут.

Во тьме хохотнула птица.

— Соловей? — встрепенулась миссис Хейнз. Но нет, соловьи так далеко на север не залетают. Это дневная какая-то птица, вспомянув роскошества дня, червяков, улиток и зернышки, хохотнула во сне.

Старик в кресле — мистер Оливер, из Индийской государственной службы, в отставке, — сказал, что место для сточной трубы выбрано, если он верно расслышал, на Римской дороге. С аэроплана, он сказал, еще явственно видны шрамы, оставленные бриттами; римлянами; елизаветинской усадьбой; и плугом, которым бороздили холм, чтобы растить пшеницу во время наполеоновских войн.

— Но вы же не можете помнить... — не утерпела миссис Хейнз. О, разумеется. Но зато он помнит — и уже он взялся ей рассказывать, что именно, но слышался шорох за дверью, и Айза, жена его сына, вошла — волосы косами, халат в линялых павлинах. Вошла, как лебедь плывет по воде; вдруг запнулась, остановилась; не ожидала увидеть людей; и что свет горит. С сыночком сидела, она извинилась, что-то он кукуется. И о чем тут у них разговор?

— Да вот, сточную трубу обсуждаем, — сказал мистер Оливер.

— Ну и тема для разговора в такой вечер! — вскричала снова миссис Хейнз.

А *он* — что он думает про сточную трубу; и вообще? — гадала Айза, кивая помещику, Руперту Хейнзу. Они виделись как-то на благотворительном базаре; на теннисе. Он подал ей чашку, подал ракетку — и все. Но в этом усталом лице ей чудилась загадка; а в молчании — страстность. И на теннисе чудилась, и на благотворительном базаре. Теперь, в третий раз, опять почудилась, и, пожалуй, еще настойчивей.

— Да, помню, — старик перебил, — моя мама... — О своей маме он помнил, что она была статная; держала чайницу под замком; но зато в этой самой комнате вручила ему томик Байрона. Да, тому уж больше шестидесяти лет, он им сообщил, мама ему вручила Байрона вот в этой самой комнате. Он помолчал.

— «Она идет в красе своей...»¹ — продекларировал он. И опять: — «Не бродить нам вечер целый под луной вдвоем»².

¹ Первая строка из первого стихотворения цикла «Еврейские мелодии» Дж. Г. Байрона (пер. С. Маршака). — Здесь и далее примечания переводчика.

² Стихотворение Дж. Г. Байрона (пер. С. Маршака).

Айза подняла голову. От слов разошлись круги, два безупречных круга, и они подхватили их, ее с Хейнзом, и понесли, как двух лебедей вдоль потока. Но его белоснежная грудь была в грязных разводах ряски; а ее перепончатые лапки вязли, их затыгивал муж, биржевой маклер. И она качнулась на своем табурете, и черные косы повисли, и тело стало как валик в этом линиялом капоте.

Миссис Хейнз учуяла нечто, их замкнувшее кругом, ее выкинувшее вон. Она ждала, как ждут, когда же отзвучит орган, чтобы уйти из церкви, в машине, по дороге домой, на розовую виллу в полях, уж она с этим покончит, как дрозд отклеывает бабочке крылья. Десять секунд переждав, поднялась; постояла; потом — будто замер орган — протянула руку миссис Джайлз Оливер.

Но Айза, хоть ей полагалось вскочить в ту минуту, как поднялась миссис Хейнз, продолжала сидеть. Миссис Хейнз на нее вылупила гусиные глазки:

— Миссис Джайлз Оливер, сделайте такую божескую милость, заметьте мое существование...

И пришлось-таки ей встать с табурета в этом линиялом капоте, с болтающимися косами.

Пойнз-Холл в свете раннего летнего утра был дом как дом. До упоминания в путеводителях такой недотягивает. Слишком обыкновенный. Но в этом белесом доме с серой крышей — крылья выброшены под прямым углом, стоит в низине, пониже просади вязов, так что трубный дым цепляется за грачиные гнезда, — жить в этом доме многие бы не отказались. Проезжающие переговаривались: «Интересно, не собираются его продавать?» И — к шоферу: «А кто тут живет?»

Шофер не знал. Оливеры купили именье всего лет сто тому назад и не вошли в родство с Уэрингами, Элвисами, Мэннерингами или Бернетами: старинные семейства, которые, сплошь переженившись между собой, и в смерти лежат сплетясь, как корни плюща, в ограде погоста.

Всего лет сто двадцать с чем-то жили тут Оливеры. И, однако, как поднимешься по главной лестнице — сзади еще черный ход, для прислуги, — там портрет. Уже на полпути тебе в глаза блеснет парча; а как доберешься доверху, увидишь напудренное личико под огромным, жемчугами перевитым париком; в некотором роде основательницу рода. Шесть-семь спален выходят в коридор. Дворецкий был

солдат; женился на хозяйкиной горничной; а под стеклом хранятся часы, отбившие некую пулю при Ватерлоо.

Было раннее утро. Трава в росе. С башенных часов упало восемь ударов. Миссис Суизин отдернула занавеску в спальне — белый ситчик, премиленький, когда смотришь из сада, зеленым исподом затенял окно. И, вцепившись старыми руками в раму, чтобы ее поднять, так она и застыла; сестра старика Оливера; вдова. Ей так всегда хотелось иметь свой дом; лучше в Кенсингтоне, нет, лучше в Кью, чтоб по паркам гулять; но на все лето она застревала тут; а когда зима туманила окна, забивала водостоки палой листвой, она говорила: «И зачем это, Барт, было строить дом в эдакой яме и фасадом на север?» На что брат отвечал: «Чтобы обойти природу, надо думать. Ведь семейную карету через эдакую грязь небось и четверней не протатишь, а?» Потом он ей рассказывал знаменитую историю про великий мороз восемнадцатого века; целый месяц дом был отрезан от мира снегом. И валялись деревья. Ну и каждый год, как зима наступит, миссис Суизин ретировалась в Гастингс.

Но сейчас лето. Ее разбудили птицы. Как они поют! Атакуют зарю, как мальчишки-хо-

ристы всей ватагой налетают на торт-мороженое. От них никуда ты не денешься, и она взялась за любимое чтение — «Очерки истории»¹ — и от трех часов до пяти воображала леса рододендронов на Пиккадилли; когда континент, не разделенный еще, как она понимала, Ла-Маншем, был единое целое; и населен, как она понимала, слоноподобными, но притом длинношеими, тяжкими, неповоротливыми, лающими страшилищами; динозаврами, мастодонтами, мамонтами; от которых, вероятно, она думала, дергая раму вверх, мы и произошли.

Наяву ей понадобилось пять секунд всего, но в воображенье гораздо больше — чтоб отделить Грейс с голубым фарфором на подносе от сопящего чудища, которое, пока отворялась дверь, как раз и норовило обрушить первобытное дерево на дымящийся зеленью подлесок. И, конечно, она вздрогнула, когда Грейс, стукнув подносом, сказала: «С добрым утречком, мэ». «Га-га», — добавила Грейс про себя, встретив этот раздвоенный взгляд, адресованный отчасти чудищу топей, отчасти же горничной в ситцевом платьице с беленьким фартучком.

¹ «Очерки истории цивилизации» (1920) Герберта Уэллса (1866—1946).

— Как поют эти птицы! — бросила наобум миссис Суизин. Окно теперь было открыто; птицы еще как пели. Сосредоточенный дрозд скакал через лужок; в клюве у него извивалась розовая резинка. Этот дрозд снова повернул мысли миссис Суизин к реконструкции прошлого, и она умолкла; вообще миссис Суизин была склонна расширять границы мгновенья, убегая в прошлое, в будущее; или вбок, по аллеям и коридорам; но она вспомнила, как мама — вот в этой самой комнате — ей выговаривала: «Ну что ты зеваешь, Люси, муху сглотнешь...» — как часто мама ей выговаривала вот в этой самой комнате; «Да, но совсем в другой жизни», — не преминул бы напомнить брат. И она села пить утренний чай, как любая старая дама бы села, с орлиным носом, худым лицом, кольцом на пальце и прочими атрибутами бедной, но благородной старости, в ее случае пополняемыми еще и сиянием золотого крестика на груди.

После завтрака няни возят коляски вдоль берега, взад-вперед; возят и разговаривают — они не обмениваются сведениями, не делятся мыслями, они перекатывают слова, как конфетки на языке; и те, истаивая до прозрачности, обнаруживают розовость, зеленость, сла-

дось. Вот и нынче утром: «А повариха-то им насчет спаржи возьми и скажи; она трясет колокольцем, а я: какой костюмчик миленький, и блузочка к нему в самый раз подходит»; они возят колясочки, перекатывают слова, пока разговор со всей неуклонностью не скатится к кавалеру.

Жаль, что строитель Пойнз-Холла сунул дом в эту яму, когда за садом, за огородом — такая чудная полоса высокой земли. Природа поставляет место для дома; а человек возьми и сунь его в яму. Природа поставляет муравчатую террасу, ровно ведет полмили, пока та вдруг не свалится в пруд, весь в кувшинках. Терраса широкая, тень от самого могучего вяза привольно потягивается поперек. Прогуливайся себе взад-вперед, взад-вперед под тенью могучих вязов. Два-три стоят чуть не обнявшись, другие поодаль, врозь. Корни пробрили дерн, и зеленеют меж белых ребер ручьи и прошвы травы, и весной там растут фиалки, а летом лиловеет яртышник.

Эми что-то говорила про кавалера, но Мейбл, рука на ручке коляски, вдруг обернулась — и сглотнулась конфетка.

— Ну ладно копаться, пошли-ка, что ли, а, Джордж, — кинула грубо.